

Инна ВИШНЕВСКАЯ

МОИ БУЛЬВАРЫ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Когда мы договаривались с редакторами о «формате» этих заметок, речь шла о главном их направлении – сугубо театральном. Я должна была рассказать о своих впечатлениях, спектаклях, актерах и режиссерах, запомнившихся моей поначалу детской, потом зрелой памятью. Но, мне показалось, что это будет слишком хрестоматийно, будет похоже на обычный набор рецензий, которые и без меня писались и будут писаться многими, на собрание неких туманностей, выдаваемых за непреложные факты. Так я потеряюсь среди гула толпы, шушания театральных занавесов, обрывков чужих оценок, расхожих мнений.

Если писать только о театре моих мелькающих лет, я останусь без своих любимых героев и книг – без Тома Сойера, дерзкого марктовеновского озорника, который мог бы стать умнейшим президентом Америки; без д'Артаньяна и графа Монте-Кристо, один из которых поставил в жизни выше всего честь, а другой – ненависть. Я останусь без Байрона – с его «безочаровани-ем»; без Шиллера – с его мужественностью; без диккенсовских Оливера Твиста, крошки Доррит, маленьких Домби и Николаса Никльби, научивших меня, не стесняясь, плакать. Останусь без Пушкина с его совершенством; без Гоголя с его мрачным очарованием; без Лермонтова с его странной любовью к России; без Тургенева с его лиризмом и политикой, без Толстого, чьи романы, повести, пьесы – вечная моя кинолента, не обрывающаяся ни на мгновение, где «мир» – прелестная Наташа Ростова, а «война» – злодей и гений Наполеон. (Не упоминаю Достоевского, так как и я, и почти вся страна не «проходили» его в 1920-1930-е годы.) Так я останусь без Блока, Есенина, Маяковского, Булгакова, Ильфа и Петрова с их великими открытиями и великими несчастьями.

Если речь пойдет исключительно о театре, мало мне будет только Чехова-драматурга – без глубины и безбрежности его повестей и рассказов. А как вспоминать мне свою жизнь без «Скучной истории», «Рассказа

неизвестного человека», «В овраге», «Дома с мезонином», «Дамы с собачкой»? Без всей чеховской прозы с ее верой в человека и неверием в человечество, без прозы доктора Чехова с его безнадежно больными персонажами. А как вспоминать жизнь и ничего не сказать о Сервантесе и его Дон Кихоте, учившем нас воевать с ветряными мельницами и считать безумие высшим разумом?

В самую волшебную историю театра не умещаются мои друзья, родственники, коллеги по работе, соседи, случайные прохожие, вечные спутники – все те, кто так или иначе повлиял на мою судьбу, профессиональный выбор и житейский характер.

Неужели не вспомню я о колыбели моего детства и почти сорокалетнем моем пристанище – огромной коммунальной квартире, где на двенадцати метрах, касаясь локтями друг друга, существовали моя мать, тяжело больная туберкулезом, я и мой отец, всегда окруженный книгами, стоявшими на подвесных полках. (Одна из них, над моей кроватью, однажды все-таки сорвалась и ударила меня по макушке полным собранием сочинений историка Валишевского.) А еще здесь жила моя няня Клавдия, приехавшая из деревни завоевывать Москву.

Обо всем этом я решила тоже рассказать в своих заметках, естественно, не упуская театральную «составляющую» моей жизни. И прошу

моих предполагаемых читателей не писать на полях «Так не было», «Тут перепутаны годы», «Спектакль выглядел не так, как вы описываете», «Такой-то играл плохо, а вы его хвалите» или что-то еще в том же духе, желая, пусть и невольно, превратить индивидуальное мое высказывание в типичное, личную гипотезу – в непоколебимую реальность. А вы, сегодняшние мои коллеги, откуда знаете, как было? Если вас и самих еще на свете не было? Все по тем же рецензиям, во многом субъективным, да к тому же снабженным острой идеологической приправой. Я не стану восстанавливать спектакли, виденные мной за долгие годы юности и в резво бегущие годы «бальзаковского» возраста. Зачем повторять друг друга: мемуаристам – историков, историкам – мемуаристов? Про все значительные спектакли прошедших времен, в общем, написано, о многих рассказано в учебниках и на лекциях, часть показана по телевидению, часть снята на всякие «носители» и хранится на пленках, видео и DVD.

Мемуары – это другое. Это ослепительный фейерверк над темнеющим небом памяти, цепочка взрывов, рассекающих туман житейских наслоений. Пусть будет не «как было», а как я увидела и сохранила в своей эмоциональной «кладовой», быть может, разрозненно, ненаучно, но как самую прекрасную радость души. А иначе получится анекдот. Была я однажды (когда все еще со всеми дружили) в латышском театре на спектакле по пьесе Я. Райниса, рядом сидел какой-то чин по искусству. Действие одной из сцен происходило в аду, где бегали его длинноногие жительницы с зелеными волосами. Наклонившись ко мне, министерский деятель вдруг шепнул: «Помоему, в аду такого не бывает».

«В аду такого не бывает» – не лучший ли это заголовок к «списку злодеяний», который предъявляют авторам иные строгие редакторы и читатели? Возможно, эти последние станут недоумевать по поводу уж слишком вольных моих ассоциаций, слишком неожиданных моих сопоставлений. Ну, к примеру, когда я рядом ставлю имена печального английского лорда Байрона и печального русского барда Есенина. Но я их так вижу.

...Читала я в детстве все подряд, безо всякой системы, все, что находила в родительском доме. Отец мой был страстным библиофилом, другом всех букинистов, которые, распустив седые кудри и бороды, словно восточные изваяния, вращались в красно-каменную стену Китай-города и даже не торговали книгами, но любовались ими, перебирая слипшиеся пожелтевшие страницы, как молитвенные четки. Отец мой покупал у них книги не коллекционно, не тематически, но как редкие цветы всех пород и окрасок. Знаменитые Брокгаузовские тома Пушкина оказывались у нас рядом с растрепанными книжками Конан-Дойля. Под столом и стульями стояли картонные ящики с романами Дюма в грязно-желтых обложках. На ящики были свалены изящные шагреньевые тома Блока, а на кушетке, вместо подушек, громоздились оплаканные слезами неисчислимых поклонниц Бальмонт и Надсон с пурпурными сердцами и золочеными стрелами, тисненными на тяжелых кожаных переплетках. Присовокупите к этому еще около двадцати томов замечательного исторического писателя Мордовцева, Лидию Чарскую и Клавдию





Лукашевич, с их бессмертными княжной Джавахой и лукаво-благосопитанной гимназисткой Фимочкой. Они дарили бедным советским детям, которые знали лишь ключи от коммунальных комнат, истинные «ключи счастья». А еще тут были разбухший том г-на Загоскина с его идеальным «Юрием Милославским» и скорбной «Аскольдовой могилой», кофейно-позолоченный Жуковский с гипнотизирующими «Налем и Дамайнти», а еще... но хватит перечислений верных друзей моего детства. Важно, что читала я без разбора. То заморожено твердила стихи Блока о Равенне, то страстно шептала есенинские строки о Шаганэ, то до икоты пугалась какого-нибудь шерлок-холмовского сюжета. Для меня не существовало географически-литературных границ. В душу залетали фразы то из корнелевского «Сида» («И я убил отца Химены!»), то из шиллеровского «Заговора Фиеско» – о Мавре, который, сделав свое дело, может удалиться, то о розах, плавающих в мисках с водой, как фрукты в компоте, из «Трех толстяков» Олеси... Эти и многие другие фразы, безграмотно, быть может, сталкиваясь в рамках культуры, грамотно общались в рамках моей души.

Необыкновенным было и начало моего книжного плена. Отец научил меня бегло читать лет в пять или шесть, подвел к шкафу с книгами и велел вытащить оттуда любую, какая попадет под руку. Я вытащила... гоголевского «Ревизор». Родственники ахнули – маленький ребенок и бессмертная комедия. Но отец был неумолим: никаких детских книжек про злых медведей, Мух-Цокотух, добрых девочек и умеющих чистить зубы паинек – это лишь трата духовного времени, бытовое воспитание, не затрагивающее нравственных ценностей человечества. Пусть читает непонятное! Не поймет сегодня, поймет завтра, зато получит особую эстетическую закалку, ее уже будут тревожить великое содержание и великая форма. Так и сфотографировали меня – с огромным бантом в пышных волосах и гоголевским томом, отныне вечным моим чтением, в слабых детских руках. Фотография эта до сих пор висит на стене у меня дома, как знак моего первого приобщения к необычному. Я прочла гоголевскую пьесу,

а потом выучила ее наизусть. В гостях меня ставили на стул и просили что-нибудь декламировать. Я декламировала «Ревизора», сначала не понимая ни звука, потом начав различать персонажей, еще позже – навсегда сроднившись с этим текстом и всякий раз находя в нем новые красоты. Постепенно книги стали для меня всем – моим лекарством, моим гипнозом, отвлечением, развлечением, познанием, школой великого русского языка.

Еще одним необъяснимым для меня наслаждением было видеть чистый ослепительный лист бумаги, вырванный из темноты теплым светом настольной лампы. Я полюбила писать. Люблю и умею выступать перед большой аудиторией, она дает мне невероятное душевное излучение. Перед ней чувствуешь себя и проповедником, и актрисой, и эстрадной звездой. А еще я люблю Первое сентября, праздник вечной моей педагогики, которая у меня, видимо, в генах. Педагогом-лектором был мой отец, педагогом был муж. С детства Первое сентября – это праздничный стол и вся семья в сборе, мы начинаем новый учебный год.

С книгой я так и не расстанусь до сих пор. Ни на миг. Как-то делали мне сложную операцию. Уже дали наркоз, но в те несколько минут, что он еще не подействовал, я потребовала на каталку заранее приготовленную книгу. Книгу не нашли, тогда я схватила первый попавшийся под руку журнал (им оказался «Крокодил») и крепко зажала его в руке, чтобы читать там... Так и не смогли разжать мои пальцы и оперировали вместе с «Крокодилом». И грустно, и смешно. Смешно, потому что самый глупый и несмешной журнал на свете провожал меня, быть может, в небытие. Смешно, потому что любое чтение всегда заменяло мне, да и сейчас иногда заменяет, жизнь.

Однако пора вырваться из пут далеких снов, чтобы войти в реальную действительность 1930-х годов, когда я «проснулась» к осознанию быта, познанию людей, ощущению себя посреди общественной жизни.

...Как мне рассказывали родители, были они так бедны, что не смогли купить коляску для своего ребенка. Меня, младенца, возили из города в город, пока наконец не привезли в



Москву, в большой шляпной коробке, где раньше лежала мамина «соломенная шляпка». Эта шляпная коробка была как бы символом нэпа – времени, когда люди начали думать о своей внешности. А для меня – еще и знаком постоянной двойственности бытия: отцовской влюбленности в революцию, где аскетизм – норма, и желания моей красавицы-матери пофрантить, сочинить себе особый наряд, воткнуть в иссиня-черные волосы яркий черепаховый гребень с блестящими камешками, надеть пёстрые бусы, унизать пальцы колечками.

Отец, руководивший моим воспитанием, велел мне никогда не пользоваться косметикой, не носить высоких каблуков и не танцевать – это «наследие гнилого прошлого». Нельзя себя украшать: Крупская ведь была необыкновенно скромна, а именно она и должна была стать моим идеалом. «В опорках и в обносках» – до десятого класса: фланелевые с начесом сиреневые шаровары, шапка с длинными, «под мех» ушами, шубейка с цигейковым воротником и звенящей цепочкой-вешалкой. Так, видимо, казалось отцу, я не испорчусь, как личность, и не растрочу своих пролетарских моральных ценностей.

А с другой стороны была моя мать, которая все старалась меня принарядить, обладала отличным вкусом, рисовала модели для знаменитых тогдашних портних, мадам Раи и мадам Фани. Меня на валюту бабушкины сережки, она покупала в Торгсине сводившие меня с ума заграничные береттики, муаровые банты, гладкие, как леденцы, и светящиеся изнутри янтарные бусы, нежные и колючие кораллы, огромные сердолики, темно-красные гранаты.

Так и осталось это со мной навсегда. От отца – безразличие к любой косметике, «школьная», без каблуков, обувь, смешное неумение танцевать там, где танцуют даже инвалиды, а я все стою у стенки с моим «пролетарским мировоззрением»; равнодушие к любой недвижимости – никаких машин, дач, зарубежных отдыхов, долларовых расчетов, банковских вкладов, кредитов, даже и сегодня, в нашу буржуазную новь. А от матери мне досталась любовь к украшениям, и непременно броским, стремление к модам, правда, без

маминого безупречного вкуса, пристрастие к оригинальным пуговицам, пряным духам, кокетливым шапочкам и всякой другой женской прихоти в коробочках с мягкой замшевой выстилкой, в граненых флаконах, в шелковых мешочках с тугими завязками.

Но не только эти черты природы моих родителей сохранились в моей памяти. Главной была любовь, без единой помарки, прошедшая через семьдесят лет их совместной жизни. Они были удивительно разные, мои родители, может быть, потому так долго и интересовали друг друга. Отец – громогласный большевик, активный участник революционных событий, несколько раз слушавший Ленина, подававший ему вместе, кажется, со всей страной, старенькое заштопанное Надеждой Константиновной пальто и очень этим гордившийся. Он окончил несколько классов приходской школы в колоритном по-шагаловски еврейско-украинском местечке, а потом и знаменитый Институт Красной профессуры, где он, без «низшего» образования, сразу получил высшее, стал кандидатом наук, вошел в среду молодой тогда научной интеллигенции, которая одновременно и училась сама, и преподавала другим, стал историком по профессии и педагогом легендарного ИФЛИ, Института философии и литературы.

Мать – детский глазной врач в молодой богемной компании начинавших врачей, а потом прославленных профессоров; вне всякой политики, смутно что-то слышавшая (больше, чем о Ленине) о батьке Махно, торжествовавшем какое-то время в ее родном Мариуполе; мать с ее яркой южной красотой, чуть приправленной радостями внезапного нэпа; с модными туалетами, с робкими прикосновениями к «пороку»: тонкий дымок длинных черных сигарет, бокал холодного сухого вина, тяжелые букеты роз от поклонников, катание на лодках, велосипедах и роликах, умение как-то внезапно и незаметно превращаться из тогдашней советской труженицы в прекрасную аристократическую даму.

Поначалу отцовскими ухаживаниями мать была страшно напугана: примерная студентка медицинского факультета Ростовского университета – и неотесанный мужлан, да еще в



буденовском шлеме со звездой (этот шлем и сейчас еще хранится среди семейных реликвий), в неизменных высоких сапогах, стоячей дыбом кожанке и с огромной «пушкой», маузером на боку. Ужас охватывал всех, кто встречал тогда их вдвоем: отца, все хватавшего прелестную девушку за руки, и мать, испуганно прячущуюся за спину своих добропорядочных подружек. Насмерть поначалу испугалась моего будущего отца и моя бабушка, к которой он все-таки прорвался с сообщением, что все равно женится на ее дочери.

– А что вы делаете в жизни? – спросила бабушка.

– Разрушаем старый мир. Хотим все отдать бедным, – с гордостью ответил отец.

– А после разрушения? – допытывалась бабушка. – Кто будет строить?

– Об этом мы еще не подумали, – парировал грозный жених.

– Каким же это бедным вы все раздадите, – спросила моя умная бабушка, – если и сейчас у нашей бедной семьи вы просите одолжить вам денег на подарок невесте?

Вопрос ее остался без ответа.

По совету родных, моя мать какое-то время даже скрывалась от настойчивого своего обожателя. Даже уезжала на поезде в другой город. Но он всякий раз догонял ее на какой-то угнанной дрезине, с криком и гиканьем, и вез обратно. Однажды она пряталась у подруги, а он, выхватив из рук какой-то «недобитой нечисти» жареного гуся, явился перед испуганными девушками с этим самым гусем и с кувшином домашнего вина.

В конце концов, оборона была сломлена, мать сдалась, и потом каждую годовщину их свадьбы (а это стало самым счастливым у нас праздником с 12 июня 1924 года) на столе появлялся вещественный символ их единения – жареный гусь. А также непременно цветы – по количеству лет, пройденных вместе. Последними перед вечной разлукой (мать умерла первой) были семьдесят белых пионов. С тех пор, как бы по завещанию отца, каждое 12 июня я покупаю белые пионы – столько, сколько прожили бы мои родители, будь они живы, – и ставлю в вазы около их портретов.

«Моя Люська» – так всегда называл маму отец, и на надгробной ее стеле просил вывести не официальные данные, но любовные – «Моя Люська». Их любовь была необыкновенной, особенно в зловещие 1930-е годы, когда жены подчас отказывались от заключенных в тюрьмы мужей, дети меняли биографию и географию. Сковывал постоянный страх какого-то inferнального, без вины виноватого существования: вроде бы и на свободе, а вроде бы вот-вот пробьет час несвободы, и неслышно начнет разворачиваться кафкианский «Процесс». В такие времена любить без оглядки, бесстрашно, по-рыцарски защищая друг друга, любить не только себя уже было великой заслугой.

В недрах, в тайнах моей семьи сохранился эпизод, неоднократно рассказанный мне родителями. Все ждали грозы, спали в пол-уха, в полсна, ведь брали, как правило, ночью. Ждали ареста отца, видного партийца в нашей коммунальной квартире. Уже собран был знаменитый «допровский» чемоданчик, и мать уже готовилась пойти за отцом, куда бы его ни повели. Меня, тогда подростка, она собиралась

отвезти к сестре, бывшей замужем вроде бы «безопасно», за тихим финансовым работником в Музее Изыщных Искусств. Кстати, и там, в музее, начиналось мое приобщение к всемирному искусству. Отец часто заходил к своему родственнику поспорить о судьбах страны (он – громко «за», родственник – тихо «против») и непременно брал меня с собой. И спустя годы, вступая на беломраморную лестницу Пушкинского музея, встречаясь глазами с египетскими мумиями, касаясь рыцарских доспехов, я вспоминаю, как пришла сюда в первый раз, чтобы никогда не уходить.

И вот однажды ночью позвонили. Чуть-чуть, до маленьких щелочек, приоткрылись коммунальные двери, мелькнули полуодетые соседи. За кем пришли? Каждый был наготове. Пришли к нам. Вперед вышел, конечно, отец. Но его отстранили.

– Нужна ваша жена, Ольга Давыдовна Горелова.

Мать оставила себе девичью фамилию, чтобы не менять медицинский диплом. Но все на той же стеле Востряковского кладбища отец дал покойной жене и свою фамилию – Вишневская. Он не мог отпустить ее в вечность без связи с собой.

– Нам нужна ваша жена, – повторили ночные гости удивленному отцу. За что же ее, районного детского врача, – без политики?

– Я пойду с ней, – заявил хозяин дома, и, как ни странно, ему разрешили сесть вместе с арестованной женой в «воронок», этот маленький, но узнаваемый всеми страшный автобус с зарешеченным стеклом сзади. Как видно, пожалели сильного мужчину, потрясенного арестом слабой женщины.

Я, как рассказывают, все это время крепко спала. Не разбудив меня и бросив на ходу моей молоденькой няне: «Не отдавайте ребенка никому, отвезите к себе в деревню», – они ушли, держась за руки.

Их привезли на Лубянку, в какой-то большой зал, где сидели такие же схваченные впопыхах люди и откуда время от времени кого-то куда-то уводили разные военные чины. За мамой сразу же захлопнулась высокая дверь с начищенными медными ручками. Отец около трех



часов ходил по Лубянской приемной, ожидая, что вот-вот придут и за ним. Но неожиданно мать вернулась.

– Пойдем, – сказала она просто. – Все остальное потом.

Они шли по ночной Москве, обнявшись, как после долгой разлуки. Отец, обладавший непробиваемым чувством юмора, заметил:

– Туда, гады, везли, а обратно идем пешком.

Мама молчала. Она и поверить не могла, что вся эта средневековая мистерия была разыграна лишь для того, чтобы показать ей групповой снимок туберкулезных больных в Крыму, где она лечилась, и спросить, какой такой негр стоит на фотографии рядом с ней. Он, якобы, подозревается в шпионаже, поэтому – имя, явки, связи. Мать объяснила, что даже не заметила, что это был негр, их все-таки учили интернационализму. Ей поверили, отпустили. Потом забыли и про нее, и про негра. Но с тех пор моя мать больше никогда не фотографировалась рядом с неграми. Да, нельзя любовью рассеять политические тучи, но любовью можно прояснить небо над ними.

Твердо запомнив это событие в жизни нашей семьи, я с тех пор затвердила, что надо помогать близким, если ждет их опасность, если грозит им беда.

Уже в иные годы, при другом идеологическом климате, в беду попала дочь моей гитисовской подруги Неи Зоркой – Машенька Зоркая. Нея была лидером по натуре, человеком какого-то выдающегося жанно-д'арковского пафоса. Ни с того, ни с сего, не будучи диссиденткой, она подписала письмо в защиту людей, не угодных тогдашнему советскому режиму. Нею исключили из партии, ей резко сократили зарплату в Институте истории искусств, где она служила, ее перестали печатать, и стала она не выездной и невостребованной. И вот пришло время, когда Маша должна была поступать в институт. Обладая серьезными способностями к языкам, она пошла в Университет сдавать экзамены на филологический факультет. Здесь, оказалось, знали историю ее матери. Девочку велено было «завалить», и вопрос, который ей задали, вполне соответствовал этому намерению:

– Скажите, сколько дивизий надо было иметь Советскому Союзу, чтобы фашисты не перешли нашу границу в 1941 году?

Девочка ответила правдиво:

– Если этого не знал сам товарищ Сталин, что нового я могу вам ответить?

Сдвойкой покинула она Приемную комиссию.

Пришла и на следующий год. Вопрос был о Есенине. Она говорила дельно, интересно,

целых пятьдесят минут. Но под конец один из экзаменаторов сказал ей:

– Очень мрачной фигурой выглядит у вас наш поэт Сергей Есенин. Вы ошибаетесь.

– Простите, но разве он не повесился в гостинице «Англетер»? – спросила его Маша.

Минута молчания, и снова двойка.

– Откройте дверь, – потребовала Маша у экзаменаторов, – посмотрите на мемориальную доску в конце коридора. На ней фамилия моего деда, профессора Университета. Он погиб, защищая Москву. А где были вы в это время?

Казалось бы, круг замкнулся. Тогда я, уже преподававшая в Литературном институте имени А.М. Горького, обратилась к его тогдашнему ректору, Владимиру Федоровичу Пименову, и попросила его вмешаться в судьбу ни в чем не повинной талантливой девочки. А дальше, как рассказывает теперь Маша, произошло чудо. Ректор Литературного института сначала допустил ее к экзаменам, а потом лично вручил ей, онемевшей от восторга, студенческий билет. Владимира Федоровича давно уже нет на этом белом свете, но, если будет дозволено прозвучать нашим с Машей слабым голосам в его защиту, то мы бы сказали так. Он был человеком разным, верующим в идею, наверное, «советским», но, вопреки тому, что пишут и говорят о нем другие, способным и на добрые дела, и на благородные поступки. Немало таких благородных поступков, совершенных разными людьми и в самые неподходящие для этого времена, встречала я и дальше на своем пути. И они все-таки перевешивали обывательское равнодушие, а подчас и злые дела злых людей.

...Объединял моих родителей еще и постоянный труд. Не было у них никаких отпусков «за свой счет», «по уходу за ребенком», поиска рабочих мест, где больше платят. С раннего утра и до позднего вечера мать и отец пропадали на службе. Отец читал лекции по русской истории в различных институтах (Геологоразведочный, МИФИ, Бауманский); мать лечила детей в разных поликлиниках, детских садах и яслях, в родильном доме, заседала во ВТЭКе. Особенно запомнились мне ее рассказы о родильном доме. Далеко не все женщины советской страны тогда попадали



в роддом, точно зная свои болезни и имея на руках результаты полного обследования организма. Неистовые труженицы, они времени не тратили, чтобы всерьез заняться собой. И потому в иных родильных домах при родах присутствовали не только акушеры, но и узкие специалисты – ларингологи, офтальмологи, хирурги, невропатологи, кожные и другие врачи, чтобы помочь нуждающемуся в них ребенку, если того требовали медицинские показания, немедленно при рождении. Тогда я и узнала от матери, что ребенок идет на свет с открытыми глазами, и, если мать его венерически больна, в глаза младенца сразу попадает яд, и видит ребенок при появлении на свет ровно минуту, а затем – неизлечимое бельмо, вечная слепота. За эту минуту врач должен промыть ребенку глаза, залить туда лекарство, и только так зрение его будет спасено. Этим спасителем света и была моя мать, а рядом с ней и каждый из врачей, делавших свое чудодейственное, отработанное, как на цирковом манеже, дело. Хирург вправлял переломы, «ухо-горло-нос» ставил дыхание, навсегда «пугал» родовую глухоту. Как гордилась я своей матерью, когда к нам в дом приходили девочки и мальчики с цветными благодарить ее за то, что и она, а не только их матери, открыла им неоглядный мир.

Если теперь, при нынешнем техническом оснащении медицины и лекарственном прогрессе, все это кажется наивным, тогда это было совсем не так. Но, когда я слышу, что многие лекарства сейчас поддельны, что детей крадут из детских учреждений и продают, что многие на всю жизнь остаются инвалидами, потому что врача-специалиста не оказалось рядом, я вновь вспоминаю свою маму и ее талантливейших друзей – врачей Эттингера, Фрумкина, Иванова, Очаповского, Плетнева, Фельдмана и других. Вспоминаю и думаю, что никакой взлет цивилизации, никакой рост зарплат не заменят людям любви к делу, честности в помыслах, стремления помочь сейчас, а не тогда, когда будут готовы анализы, рентгеновские снимки, модные ДНК-коды и т.д. Все будет готово, но уже не будет ни к чему готов сам больной.

Отец, помимо обязательного курса лекций в своих институтах, читал еще и лекции в Обществе «Знание», в Доме Красной Армии, в Свердловском райкоме партии, главным образом, рассказывал о Ленине, «путеводной звезде» в наших делах и работе. Еще на заре советской власти на каком-то партийном съезде отец, тогда молодой посланник с Украины, пробился к вождю с вопросом, как быть с коровами, сдавать ли их государству или оставлять у себя, – его просили узнать это у самого Ильича. Ленин, как видно, обладавший чувством юмором, сказал тогда отцу, что об этом лучше всего ему расскажет Анатолий Васильевич Луначарский. Украинский делегат стал искать Луначарского, но, к счастью его, не нашел. С тех пор отец не раз говорил мне, что есть три проблемы, которые так и не решила советская власть: что делать с коровами – отдать в государственную собственность или оставить в частной; что делать со школьниками – учить ли девочек и мальчиков вместе или отдельно; и что делать с евреями – сразу всех выслать, куда подальше, или сохранить нескольких для улаживания государственных финансовых вопросов. Что касается коров и евреев, теперь, по-моему, они заботятся о себе сами, а вот нынешнее Министерство образования давно пора переименовать в Министерство Преобразования, столь неутомима его тяга к реорганизации, плавно приводящей к дегенерации.

Рабочий стаж отца, длившийся до девяноста лет, прервался неожиданно и на трагикомической ноте. Как-то я везла его в такси на очередную бесплатную лекцию о Ленине, в некую Богом забытую библиотеку в Орехово-Зуево. Самостоятельно он передвигался уже с трудом, но, выходя к аудитории, загорался, снова обретал ораторской голос. Возможно, и не надо людям, потерявшим физическую форму, продолжать публичную деятельность: неловко иногда бывает их слушателям и зрителям, мучительны и им самим эти передвижения с помощью близких. Но я все же думаю, что чем больше выводить стариков на люди, давать им понять, что они по-прежнему нужны в своей профессии, тем дольше они проживут не в горестном одиночестве.

Итак, мы с папой в такси.

– Знаешь, – говорит он молодому водителю, – о ком я сейчас буду рассказывать? О Ленине.

– Странно, – замечает шофер, – значит, в центре уже никто не хочет про Ленина слушать? Вон, куда тебя, старика, загнали. Езжай-ка ты лучше, папаша, домой, выпей пивка да в постель!

Наступило молчание.

А через несколько месяцев отец умер. Наверное, от старости, от болезни, но, думаю, еще и потому, что никто больше не хотел слушать про Ленина...

С Лениным в нашей семье связан и еще один, опять-таки трагикомический случай. Однажды отцу позвонил Бухарин.

– Надо встретиться, – таинственно сказал Николай Михайлович. – Хочу передать тебе кое-что на хранение.

Опытные подпольщики, знакомые по партийной работе, они договорились встретиться в Столешниковом переулке. Там всегда былолюдно, красивые женщины, сытые мужчины, сияющие витрины, все что-то продают, покупают, и никому нет дела до встречи двух «верных ленинцев». Мать, которая всегда была в курсе отцовских дел, почему-то решила, что речь у них пойдет о... кастрюлях и сковородках, привезенных «оттуда», лишних в бухаринском хозяйстве, но дефицитных для нее, искусной кулинарки. Отцу она дала с собой рюкзак, мешок, портфель и еще какие-то емкости, – и он отправился. Бухарин принес нечто очень тяжелое, обернутое газетами и рогожей, просил на улице не раскрывать, сказав, что это самое дорогое в его доме, что он тревожится о дальнейшей своей судьбе, ибо над ним, похоже, сгущаются тучи.

– Если что-то с тобой случится, – предупредил он отца, – передай это верному человеку.

Дома мама почему-то сначала долго щупала таинственный сверток, пытаясь вслепую определить, что же в нем. Потом родители наконец открыли загадочную ношу. Ею оказался небольшой бронзовый бюст Ленина известного скульптора Андреева, необычный, единственный в своем роде, на бронзовой книге, как на

постаменте, бюст вождя в примятой, на лоб надвинутой кепке; Ленин был чем-то разгневан, раздражен, наморщен, через плечо смотрел на людей и словно знал, что вскоре его предадут.

Немая сцена в нашем доме.

Он и сегодня, этот бюст, стоит на отцовском письменном столе. Умирая, отец завещал его никому не дарить и не продавать, а последнему человеку в нашем роду отдать его в Музей Революции. Знал бы он, что такое сегодня Музей Революции и что бюст Ленина, может быть, пригодится только Геннадию Андреевичу Зюганову... Хотя, боюсь, и этот господин давно забыл, как Ленин выглядит. Предлагали мне купить эту вещь американцы, но не отдала я им самую большую ценность моих предков на «гнилой», буржуазный, столь не любимый ими «за океан».

Обо всей этой «Лениниане» в уже оттепельное время рассказала я дочери Бухарина Светлане, собираясь вернуть ей отцовское добро.

– Ради Бога, не впутывай меня в это дело, – сказала мне немолодая женщина в больших «научных» очках. – Я и так по горло сыта отцовским наследством... много претерпела и без Владимира Ильича. Оставь его себе.

Так и стоит он на письменном столе, иногда пугая гостей-либералов. Тревожит меня его сиротская судьба. Когда не станет и меня, им наверняка будут колоть орехи соседские дети, или водрузят куда-нибудь, как гирию, или повесят, как противовес.

Но мимо, мимо, как писал Гоголь, поскорее от этих печальных страниц.

Что еще помню?

Ну, конечно, знаменитую нашу коммуналку, по адресу Петровка, 26, 2 этаж, квартира 49, телефон К-4-65-59. Знаменита коммуналка была потому, что раньше в этом тянущемся, как небывшая нитка, шестиэтажном доме под названием «Обыденка», располагались публичные заведения, горели красные фонари, и, по легенде, именно об этом доме, где некий студент потерял свою невинность и веру в чистую жизнь, написал свой рассказ «Припадок» Чехов. Второй «славой» «Обыденки» были зимой – каток, а летом – теннисные корты «Динамо».

Уже привычное мне состояние – двойственность обстановки. Словно в опере «Пиковая



дама», крупно сыплющийся снег, метель из отдельных звездочек-снежинок, и все видно, и все в дымчатой пелене, – это каток «Динамо». Из темных репродукторов льется томное танго «Рио-Рита», «Чуть белеют левкой в голубом хрустале», «Ваша записка в несколько строчек», «Наш уголок нам никогда не тесен», и сладостный Вадим Козин, и хрипловатая Изабелла Юрьева, и нервный Петр Лещенко, и «Эх, Андрюша», и «Сыграй мне синюю рапсодию» – звуковые дорожки моего детства. Люди, идущие на каток и на корты, представляются мне героями прочитанных книг: «Мистер-Твистер», «Мисс Мэнд», «Гиперболоид инженера Гарина» – все богатые и все «не свои». А уж когда летом появлялись здесь два красавца-теннисиста, Андрей Гончаров и Владимир Ушаков, я и вовсе теряла рассудок: вот бы и мне так! вот бы и мне с ними! Но туда – нельзя: нет спортивного костюма, нет коньков, нет ракетки.

– Смотрите, вон лодыри катаются, – смеялся простой народ.

– Там одни лодыри, – говорил и отец, утверждая, что некто «заграничный», по фамилии «Лодер» и был создателем этого нашего катка. – Лучше почитай хорошую книгу.

Я и читала под беззвучие снега, под звуки «Рио-Риты», и не таяли снежинки на стеклах окон. Когда вдруг заиграют опять где-нибудь это танго, я плачу, и не тают на стеклах, теперь уже очков, все те же вроде бы снежинки...

В коммуналке, помимо нашей семьи, жили многие. Теперь все умерли, и я одна сохраняю их тени.

Жила пианистка Елизавета Покрасс, однофамилица известной музыкальной семьи, игравшая по вечерам «адресный» похоронный марш каждому, с кем поссорилась поутру. В этой же комнате обретался ее муж-инженер Теодор, он же Тевье, и незамужняя сестра Дора, носившая обручальное кольцо – так приличней. Она то и дело открывала сестре глаза на измены супруга и добилась наконец того, что глаза у той закрылись навсегда. Спец по коммунальным афоризмам, она съедала все, что было под рукой: «Лучше в нас, чем в таз», «Не тушите свет, еще належимся в темноте».

Жил тут и артист Вахтанговского театра Виктор Григорьевич Кольцов с женой из

миманса Большого – Надеждой Петровной Мишиной. Всякий раз на нашей каждодневной сцене в нескончаемом коридоре, не ходя на спектакли друг к другу, они выясняли вопрос, кто талантливее: она с ее величественными жестами балетных королей – не «выходя из образа», а он – «выходя из образа» и по-вахтанговски шумно.

Жил у нас Владимир Германович Шишманов, бывший гример Большого театра, просидевший семнадцать лет за «неправильную» ориентацию и трясшийся над своими сундуками с лохматыми париками и клееными бородами, не хуже пушкинского Скупого рыцаря. Была у него и жена, по-нынешнему «крыша», Марья Гавриловна, кудрявая опереточная старушка с кошками Бетси и Тутси и двумя коричневыми собаками. Маленькую свою жилплощадь они еще и сдавали пьянице-медсестре Маруське и учителю русской литературы Терентию Филипповичу Перепади. Комнаты были разгорожены простынями, изгрызенными собаками и исцарапанными кошками. Маруська делала уколы животным и людям, Перепади носил в портфеле, чтоб не украли, небольшой этюд Айвазовского, купленный на какие-то «наследственные» деньги. По вечерам он иногда напоказ выносил этого Айвазовского из комнаты, и я, глядя на картину, слышала гул моря под гул изразцовой коридорной печи.

Колоритнейшей в нашем коммунальном «пейзаже» была семья рабочего Давида Гительмана. Уже сам по себе еврей-рабочий считался чудом. Словно поэтому угрюмый Давид ни с кем не общался при помощи слов, а попросту бил каждого не угодившего ему человека лыжами по голове. Эта процедура называлась у него утренней гимнастикой для непролетарских соседей. В комнатке, узко вытянутой, как пенал, обретались сам Давид, жена его Катя и четверо детей – Галя, Надя, Нина и совсем маленький Толик. Кончилось все страшно: крошечный Толик выпал из окна и разбился насмерть. Переполненная комната-пенал словно не смогла вместить в себя всех Гительманов, и самого слабого из них, теснимого более сильными просто выдавила из себя, как пасту из тубика. А Давид вроде бы и не горевал, только лишний раз избил свою

безответную Катю – за то, что русская, а русские не умеют беречь родню.

Далее следовал дворник Андрей, он же татарин Абдурахман, и тоже с русской женой Катей. Жила с ними и выжившая из ума мать Кати, иногда она вдруг покидала дом и где-то бродила, не зная, как вернуться назад. Ее приводили сердобольные прохожие, потрясенные рассказами старушки о себе.

– Я крепостная графа Толстого, – рассказывала она, – он меня «оприходовал», и вот Катька – его отродье.

Никто никогда не обращал внимания на то, что Андрей-Абдурахман, не смыкая глаз, сидит на кухне возле своего кухонного столика и почему-то всегда на корточках. Но однажды пришла милиция, направилась прямо к этому столику, наклонилась и вытащила из-под шаткой мебели большой крепкий мешок. Мешок открыли, подошли соседи-понятые, я, естественно, тоже оказалась тут как тут, и увидели целую россыпь драгоценных камней: ослепляли бриллианты, ласкал взгляд жемчуг, манили золотые кольца, будто прямо из пещеры на острове Монте-Кристо. Андрея увели, мешок изъяли, Катя плакала, глядя на дочек, Алию и Софию, которые вечно ходили в застиранной бумазее. Ни мешка, ни Андрея больше никто не видел. В летописи коммуналки осталась только очередной афоризм Доры Покрасс: «Я же говорила, надо чаще и чище убирать на кухне, тогда бы мы все ходили в золоте».

Еще одну комнату занимал шофер Иван Иванович с женой Иркочкой и сыновьями Генкой и Женькой. Иван Иванович пил беспрерывно, но без аварий: талант, как говорится, не пропьешь. Ирка долго боролась с его запоями, но запила наконец сама, совсем как Жервеза из «Западни» Золя. Маленький Женька стучался во все комнаты с криком:

– Заходите к нам, наша мама – писитутка...

Подолгу жил у Ивана Ивановича и брат Ирки Жорка, видный хороший парень, но со странным криминальным «приколом»: уходя, он незаметно срезал телефонную трубку общего нашего телефонного аппарата, где-то ее продавал, а потом снова являлся как ни в чем не бывало, одаривая разгневанных соседей то ли блатной, то ли киношной улыбкой.

А как не рассказать о Серафиме Марковне Александровской, замечательной портнихе ламановского толка, день и ночь сидевшей за швейной машинкой с булавками во рту и с раскрытым модным журналом на коленях. Непростым был этот модный журнал. Его тайно, из таможни на таможню, из посольства в посольство, из рук в руки пересылали Серафиме из Америки, где жила ее племянница, в свое время вышедшая замуж за поляка. Ах, что это был за журнал! Часами сидя рядом с Серафимой, строчившей, как пулемет, на машинке, я рассматривала его, прикидывая на себя широкие клетчатые жакеты, узкие, как карандаш, юбки, фантазируя, что когда-нибудь и я выйду во всем этом на люди. Серафима объясняла мне, что желтое с синим и зеленое с красным – это восхитительно, что дисгармония лишь подчеркивает гармонию, что бесстыдные декольте не привлекают, а глухо закрытые туалеты, напротив, приманивают какой-то волшебной тайной, что наперсток должен быть непременно серебряным (один из них так и «живет» до сих пор у меня), что в соприкосновении с серебром самая простая ткань делается аристократичной. А какие приходили к ней клиентки! И непременно с черного хода (был и такой в нашей «Обыденке») – чтобы не выследили их высоко служащие мужья с низкими якобы зарплатами и не увидели наши завистливые соседки через смрадно коптящие свои керосинки. На дамах были легкие норковые манто и тяжелые золотые украшения. И лица они закрывали воздушными шарфами, веющими «Шанелью». Мой отец не велел Серафиме шить что-нибудь для меня, мечтающей надеть платье из ее рук: пусть эти «нэпмановские» наряды носят «не наши» дети, наши хороши миром внутренним. Постепенно и я привыкла пренебрегать внешним миром, не зная, правда, обогатился ли от этого мой мир внутренний.

Я уже сбилась со счета дверей нашей «Вороньей слободки». Но еще одну дверь открыть необходимо. Здесь, как говорили, временно, а значит навсегда, поселилась моя тезка, Инна Дымова, дочь знаменитого коллекционера Георгия Кастаки, которая против воли отца вышла замуж за жуликоватого и смазливового



торговца Илью Дымова, промышленявшего на рынке так называемыми в те поры дамскими «газовыми» косынками. Не привыкший к возражениям, Кастаки отселил семью дочери прямо в коммуналку, чтобы узнала истинную цену непослушанию. И дал он ей с собой «на пропитание», ничего не объяснив, большой сверток не окантованных живописных листов с подписью никому не известного в 1950-е годы И. Зверева.

Как-то Инна одолжила у меня деньги, не смогла отдать и предложила взамен эти «бросовые» листы. Я посмотрела – мазня-мазней, ни одной реалии, ни одного узнавания жизни. А меня ведь учили, что есть в русской живописи только Серов и Репин. Сверток этот я все же взяла и небрежно сунула под шкаф. В доме подметали, мыли полы, передвигали мебель, но совершенно забыли о каком-то там Звереве под шкафом. Однажды нашли, раскрыли, размотали газеты и увидели подмокшие, грязные листы. Инна Дымова совсем ничего не смогла сказать о художнике: папаша, мол, дрянь какую-то подсунул. И я принялась потрошить эту зверевскую папку. Часть раздарила, а когда стало ясно, кто такой Илья Зверев, часть продала, трудное наступало житье. И осталась у меня только одна зверевская картина: черные, обугленные стволы деревьев, некий «Сталкер», мертвая зона. Смотрю на нее сейчас и вспоминаю другие «мои» картины Зверева – например, «Войну»: серая подмалевка, а на ней, точно пули, тугие сгустки тоже серой краски, неразорвавшаяся смерть; церкви с летящими над ними крестами. Так и не соединились они нормально друг с другом, художник и его зритель: то власть мешала, то не дотягивались люди. Вспоминаю сейчас это, смотрю на «свои» оголенные деревья и горько терзаюсь – ранней своей безграмотностью и поздним раскаянием...

А крысы-то, крысы, как же я о них забыла! Они жили на Петровке рядом с нами – огромные, серо-черные, как из страшного сна гоголевского Городничего. Они не бегали даже, а просто сидели на облупленной кухонной раковине, будто Химеры на Соборе Парижской Богоматери. И каждый, кто ночью выходил в единственный наш туалет с холодным бетонным полом и оборванной спусковой цепочкой,

громко хлопал в ладоши, бил ногой в дверь, свистел, кричал, чтобы спугнуть этих тварей. Таким образом, ночь прерывалась для всех. Вообще совсем тихо в нашей коммуналке не бывало никогда. Скандальная пианистка Елизавета вопила, что выносить ведро с мусором на улицу надо «подушно»: сколько «душ» в семье, столько дней и надо выносить мусор. Гительмановская Катя с оравой детей шептала ей в ответ, что надо выносить мусорное ведро «семьями»; одна семья – один «вынос». То к нам вламывался точильщик со своим станком, от которого во время работы летели шипящие искры: «Ножи-ножницы точим!» То под окнами верещал старьевщик: «Старье берем!» Лаяли собаки Марьи Гавриловны. Устав от ею же затеянных склок, бравурно бряцала на пианино все та же Лиза Покрасс. А в уличную дверь, на которой белела наклейка, сколько кому звонить («два длинных, один короткий», «три коротких, один длинный»), просто били ногами: света на лестничной площадке, чтобы прочесть сагу о звонках, никогда не водилось.

Меня в коммуналке любили все. Если так можно сказать, посреди яблок всеобщего раздора я была яблоком всеобщего примирения. Любознательная приличная девочка с косичками, отважно входившая во все комнаты, чтобы поговорить, расспросить, чему-нибудь поучиться. И каждый чем-нибудь меня награждал, как добрая фея Золушку. Инженер Теодор Евсеевич чертил заданные в школе чертежи; гример Шишманов вспоминал, как гримировал Собинова; учитель Перепади читал со мной Гоголя, объясняя, что именно в Гоголе сходится лирическая Украина и царственная Россия. Таксист Иван Иванович возил меня на машине, стараясь быть трезвым. Серафима втайне от моего отца шила мне модные юбочки, которые я надевала только у нее в комнате, смакуя, как запрещенный плод. Виктор Григорьевич Кольцов брал меня на спектакли Вахтанговского театра. В Большой театр водила его жена Надежда Петровна. Отец, как бы ни уставал днем, каждый вечер непременно рассказывал мне что-нибудь из русской истории. Особенно любила я слушать «про царей» – царь-девицу Софью, несчастного царевича Алексея, замученного отрока Петра II.

Мать брала с собой в детскую поликлинику, где я смотрела, как взвешивают на специальных весах грудных младенцев, как пускают капли в глаза детсадовским, предварительно заморозив их какой-нибудь сказкой. Все это было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что я видела, как раскрывалась доброта в самых подчас черствых сердцах, плохо оттого, что осталась я навсегда инфантильной, во многом беспомощной, милой Инночкой с фирменными косичками, взамен нормального взрослого человека.

Но, наблюдая людей разных профессий и чем-то всегда увлекаясь, безвозвратно попала я в плен театра. При помощи соседки, королевы миманса, изучала Большой. Пересмотрела почти все знаменитые фонвизинские и грибоедовские, гоголевские и островские «утренники» в Малом. С актером Кольцовым впервые познала разноцветную прелесть вахтанговских спектаклей. Вместе со взрослыми бредила искрометной «Принцессой Турандот».

В Большой попала я в первый раз пятилетним ребенком. Это было одновременно и событие, и как бы будничное дело. С одной стороны, отец хотел приобщить меня как можно раньше к искусству, а с другой – сделать это чудо для ребенка нормой. Я садилась на свое место и начинала рассматривать Большой театр. Сначала потолок – это уже была сказка, волшебство, что-то необыкновенное парило надо мной, и, не зная точно названия фигур, я уже знала, что все прекрасное на земле собрано здесь. Потом в сознание входили красные бархатные ряды, потрясла позолота, нарядные платья вокруг, повсюду слышалась русская речь (русские люди тогда еще ходили в Большой театр, а иностранцы, как видно, в те времена занимались чем-то другим). И наконец раздвигался занавес...

Было ли это правильно с точки зрения воспитания или неправильно? Я иногда не знала даже названия оперы или балета, которые мне предстояло увидеть. Не знала названия, но знала, что чудеса обязательно будут. И они совершались. Не могу вспомнить ничего целостного из тех первых посещений, только какие-то яркие вспышки, многоцветные каскады. Неповторимые клееные декорации, свисающие с марли цветы, листья, облака, птицы,

какие-тодвигающиеся на заднике корабли, возникающие и исчезающие дворцы и фонтаны, вдруг появляющиеся в финале живые лошади, необъятные три толстяка, за которыми носили большие бархатные подушки с кистями, прелестная, воздушная кукла Суок – все это навсегда осталось в моей эмоциональной памяти. Как навсегда остались Одиллия и Одетта, в глухо-черном и ослепительно-белом, так и борются они всю мою жизнь, добро и зло, мрак и свет, первые черты которых я познала в балете. И Аистенка помню, в белой юбочке и смешной шапочке с красным клювом, – осталось впечатление чего-то чистого, что никогда не загрязнить. И оперы, оперы... Что-то неземное звучало вокруг! «Трубадур», содержание которого я и сейчас не могу рассказать, как, впрочем, ни один человек на свете, цыганка Азучена с ее неистовой страстью, какие-то благородные рыцари, и Риголетто, бедный горбун со своей страшной любовью к дочери, и порхающий Герцог с его божественной арией, и «Царская невеста», и какой-то сухой, костлявый Иван Грозный, который казался мне на сцене выше всех... Да расскажешь ли все, что с пяти лет было в моем каждодневном праздничном детстве?!

Потом пришли другие впечатления, учеба и целая жизнь, но все равно где-то в глубинах души осталось это воспитание Большим: всегда прекрасные Белые лебеди, всегда очаровательная кукла Суок, всегда беспомощный Аистенок, всегда плохой Иван Грозный, всегда величественный Иван Сусанин, всегда торжествует и будет торжествовать добро...

Я давно уже вхожу в Большой театр с шестнадцатого подъезда. Это особый подъезд. Около него всегдалюдно, деловито и весело, люди держат в руках букеты, идет своя жизнь, мешаются в одной толпе «сыры» и профессионалы. Я поднимаюсь по лестнице, у подножия которой стоит, как мне кажется, все та же, что в моем детстве, добрая капельдинерша и вежливо не спрашивает: «Вам куда?» Однажды именно на этой лестнице я увидела Галину Уланову. Она шла на высоких каблуках, таких высоких, что и стоятьто на них невозможно, не то что спускаться по лестнице. На ней было узенькое серебристое



платье, скромное и роскошное одновременно. Пока она шла мне навстречу, я снова вспомнила «Лебединое озеро», Одетту и Одиллию моего детства, и всю свою жизнь, в которой Большой театр всегда продолжал меня воспитывать.

Как-то давно слушала «Бориса Годунова», где было очень много режиссуры. Я – дилетант, поэтому молчу, я «за» всякие новшества, но все-таки хотелось бы понять, кто же из всех – Борис Годунов, из какой это бочки поет Юродивый и которая Марина Мнишек? А рядом в ложе сидел Иван Семенович Козловский, казалось, он вечный, живет уже век, он и есть тот самый Алексей Разумовский, что потряс некогда своим божественным голосом саму императрицу Елизавету. И вот, когда публика в зале отчаялась услышать пение Юродивого, еле доносившееся из «трюма» сцены, за дело взялся Козловский. Он перегнулся через бортик ложи и запел: «Пода-а-айте копе-ечку... Не могу молиться за царя Ирода-а...». Зал остолбенел. Это было чудо, победа консерваторов над новаторами. Я шучу, конечно, это была игра великого Театра. И что бы там ни происходило сегодня в Большом, какие бы ни сотрясали его распри, все равно да здравствуют Белые Лебеди, Балет и Опера, воспитавшие не одно поколение.

На «мой» Большой дружелюбно смотрит «мой» Малый театр, еще один бархатный зал, спокойный и уютный, а перед спектаклем – нервно-напряженный. Ты наслаждаешься видом этого гармоничного классического мира и одновременно ожидаешь лихорадочных потрясений. Это особый зал, который никогда не покидали тени его незабвенных актеров, его прославленных зрителей.

Передо мной, маленькой, но опытной уже театралкой, сразу как бы материализуется Щепкин, бывший крепостной и великий актер, на равных беседовавший с Пушкиным и Гоголем. Я уже кое-что знаю о нем: прежде чем вести меня в тот или иной театр, отец давал мне читать посвященные этому театру книги и статьи. О Щепкине я запомнила, что играл он «просто», как бы и не выглядел актером, всегда был верен жизни: иголки не просунешь между живым лицом и актерской маской. Но нет, в этом театре нельзя играть просто. Я

почувствовала это еще девочкой, придя сюда в первый раз. Здесь таинственно и бесшумно раскрывался царственный, с золотыми кистями занавес, здесь актерские лица были как старинные медали, здесь звучали не голоса, но органы. Здесь, не стесняясь пафоса, развенчивали злодеев и воспевали добродетель. И ермоловская Жанна д'Арк не «просто» поднимала свой меч, раз ее романтическая энергия потрясала всю мыслящую Россию. Не случайно в этом Втором Университете учились не только великие демократы, но и великие зрители – Белинский, Станкевич, Герцен, Бакунин, Кетчер. До сорока градусов поднималась температура у Белинского и «волоса становились дыбом», когда мочаловский Гамлет спрашивал «Быть или не быть?» – и у него спрашивал, быть или не быть России Данией-тюрьмой.

Первым моим спектаклем, врезавшимся в память, был в Малом театре «Недоросль». Не скажу сейчас, кто играл Стародума, Милона, Софью, да и самого Митрофанушку, будто я и не смотрела на них вовсе, – я помню только Массалитинову в роли госпожи Простаковой и затвердила с тех пор, что социальное понятие «крепостница» – далеко не все для раскрытия сути этой фонвизинской героини.

На сцене прочно угнездилась большая разноцветная птица – не в темном платье старушки-матери, но в чем-то путано лиловом, оранжевом, переливающимся, с высоким тюрбаном на волосах. Это была торжествующая Матрона, воспитавшая чудо-сына и поэтому молодая от радости, нарядная от гордости, говорливая от счастья. Рядом – люди, муж, учитель сына, брат, нянька Еремеевна, но Простакова–Массалитинова видит только Митрофана. Как подсолнух за солнцем, поворачивается ее голова за своим единственным любимцем, глаза сияют, молитвенно тянутся к нему руки, широко раскрывается рот для изъявления родительских восторгов. Обезумевшая от вседозволенности крепостница? Нет, мать, обезумевшая от любви и уже потому несчастная. Избыток чувств вот-вот обернется для нее презрением Митрофана. Простакова–Массалитинова с первого акта предчувствовала эту драму, громко торжествуя, вдруг тихо задумывалась: а что



впереди? И привлекало ее не столько богатство митрофанушкиной невесты, сколько желание отдать сына в другие любящие руки: не станет матери, защитит его от жизни мудрая жена.

В финале Простакова была наказана – арестом, ссылкой, тюрьмой. Так у Фонвизина. По-другому, и мне это понятнее, играла Массалитинова: она наказывала свою героиню сжигающей страстью, равной страстям великих античных матерей – Медеи, Клитемнестры, Иокасты. Не рассуждающая страсть не может быть счастливой. Героиня Массалитиновой не слышала сурового приговора: что ей людской суд, ее суд – в равнодушии сына, в близкой разлуке с тем, кто не способен почувствовать ни страдания, ни сострадания. Такую Простакову было жалко. Она, а вовсе не Стародум оказывалась героиней фонвизинской комедии. Он был героем, назначенным автором, она – героиней, поставленной жизнью и возведенной актрисой в жанр трагедии.

Я, девочка, плакала в финале комедии, мне была так понятна эта безумная материнская любовь. Так же любила меня моя мать, не замечая ни грехов, ни слабостей, ни дурных моих помыслов. Умирая, говорила, что весь ужас смерти для нее – в вечной разлуке со мной. Вероятно, все дело лишь в том, чтобы страстью своей не сгубить другого человека. Поэтому кланяюсь памяти замечательной «старухи» Малого театра, актрисы Массалитиновой, так рано показавшей мне накал добрых чувств там, где по театральному действию должны были звучать сугубо социологические обвинения...

С Театральной площади – в Камергерский проезд, тут, в Художественном, я смотрю «Синюю птицу». Но прежде, как заведено, соседи-актеры посвящают меня в особенности этого театра.

– Во МХАТе, – говорят первые мои учителя, – надо сидеть тихо, ты отделена от актеров невидимой стеной. Здесь неловко, «невоспитанно» слишком бурно участвовать в чужих сценических жизнях, хоть и творимых на наших глазах. Надо добровольно подчиниться этой старомодной воспитанности, сдержанности, не шуметь, не выкрикивать никаких «браво» и «молодцы», как, скажем, в Большом, не выплескивать эмоций.

А что до «Синей птицы», это спектакль-вечность, спектакль на все возраста и вкусы.

– Почему, – спрашиваю я, – так часто тут играют про птиц? «Синяя птица», «Чайка»... И каждая птица – легенда?

Мне объясняют:

– Спектакли не о птицах, но о далекой мечте, к которой идут новые поколения. За Синей птицей – в хороводе детей, за белой Чайкой – в хороводе взрослых, не растерявших детства.

С тех пор так и иду я с Тильтиль и Митилем за несбывшимся. Висит у меня в квартире и вырезанная из дерева Синяя птица, подарок моих студентов, колышется от сквозняка: улетит или останется – кто знает?..

Родной мой театр – Вахтанговский. Туда я хожу, как домой, трепетно держа за руку своего Вергилия Кольцова. Что осталось в памяти? Манкий Арбат с его загадками, десятки раз обретавший новое лицо, новых жителей и прохожих. Окруженный сетью путаных переулков, воспетый, кажется, всеми русскими писателями, отсвечивающий «веком золотым» и запорошенный снегами «века серебряного». В названии – Арбат – резкий азиатский ветер, раскосые скифские глаза. В старых арбатских домах, в ажурной вязи переулков жили и творили знаменитые литераторы, художники, композиторы, в память о которых чернеют, белеют мраморные и чугунные доски с именами-легендами. На Арбате прожил первые «семейные» месяцы Пушкин. Арбат – одна из самых «душевных» улиц Бунина. Без Арбата не мыслил фантазмагории «Мастера и Маргариты» Булгаков. Арбат стал той волшебной «дорогой», по которой москвичка Маргарита Николаевна перелетела из жизни реальной в «виртуальную» жизнь ведьмы. И, конечно же, с высоты своего полета она не могла не увидеть «ослепительно сияющих трубок на углу здания театра». «На Арбате надо будет быть еще поосторожнее, – подумала Маргарита, – тут столько напутано всего, что и не разберешься». Поразительно верный эпитаф к моему первому знакомству с вахтанговской «Принцессой Турандот». Волшебство Арбата началось для меня здесь.

...Я в зале. Очень яркий свет, еще до начала спектакля. Особое перед спектаклем, волнующее ощущение театра. Всех можно рассмотреть,



по-новому почувствовать себя. Ты тоже будто выставлена напоказ, не на сцене – и на сцене; ты зрительница и одновременно актриса. Тебя «высветили», ты объект, а не только субъект восприятия.

В вахтанговском спектакле о Турандот царил дружба между сценой и залом, как бывает, когда встречаются старые знакомые. Не случайно, ища точное жанровое определение для «Турандот», кто-то называл шедевр Вахтангова спектаклем-встречей.

Естественно, в ранние годы я не имела понятия ни о Вахтангове, ни о Мейерхольде, ни о Брехте, ни об Арто. Но, не зная никаких теорий, именно в зале Вахтанговского театра впервые почувствовала эту прелестную свободу, эту бесшабашную близость к актерам. Как протезе Кольцова, мне позволили даже пройти за кулисы, полюбоваться «буржуазными» костюмами, слазить в оркестр, потрогать «инструменты», гребенки, пищалки, тарелки, на которых исполняется с тех пор забываемая музыка Сизова к «Принцессе Турандот». И еще витал в зале дурманящий запах незнакомых духов. Позже мне объяснили, что духи эти называются «Садо-Яко», что их особый восточный аромат помогает актрисам играть китайскую сказку.

Спектакль начался. Выбежали маски, и я приняла их за артистов цирка. Сразу стало весело. В «серьезных» театрах, где я бывала, никогда не выходили на сцену такие смешные клоуны, которые тут сразу начали показывать фокусы. И вдруг стало страшно. Я заметила, что на высоких пиках на сцене торчат отрубленные головы несчастных женихов принцессы, не сумевших разгадать ее коварных загадок. Я испугалась, что вот сейчас роскошный молодой принц, только что осуждавший кровожадную красавицу, возьмет в руки портрет этого «чудовища» и мгновенно сам попадет в плен злой красавицы. А дальше – смерть, удел всех, кто приближается к принцессе. Но Калаф разгадал загадки, и теперь ненавистью к нему пылает Турандот. Соблюдая данное отцу и народу слово, она должна выйти замуж за победителя. Но благородный принц не хочет любви по принуждению. Пусть принцесса получит шанс остаться свободной, разгадав и его загадки.

Ночь, утомленный Калаф засыпает. На темном бархате задника появляется бледный серп луны, приплясывающий и как бы подмигивающий людям: мол, не обманывайтесь, я не крошечная лампада мира, я вам сейчас освещу такие интриги. К ложу Калафа неслышно крадется пленная татарская княжна, а ныне рабыня Адельма. Уж она-то, ненавидящая Турандот и безнадежно влюбленная в Калафа, непременно узнает его тайну. Зал замирает, а я, словно в детском театре, где обычно смотрю сказки, хочу закричать принцу: «Не доверяй ей! Не говори, кто ты, иначе погибнешь!» Но я креплюсь и молчу. Мистическим ужасом веяло от этой сцены, пока одурманенный сном и ласковыми словами сирены Адельмы, Калаф рассказывал о себе.

А маски продолжали забавляться, путались под ногами друг друга, то помогали, то мешали Калафу, меняли сцены, проникнутые страхом, на сцены, озаренные смехом. Наверное, так и должно быть в сказках, где жизнь так легко чередуется со смертью. Много позже подтверждение этих давних театральных впечатлений я нашла у Цветаевой, написавшей, что всегда живет в сказке «чистая стихия страха, без которой и сказка не сказка, и не услада».

...Я видела всех первых исполнителей спектакля о принцессе Турандот: красавца Завадского, похожую на статуэтку Мансурову, эксцентричного Щукина, увесисто-легкого Захаву, трагически страстную Орошко – какого мне было еще желать театрального счастья?! Но счастье, быть может, еще более прекрасное, ждало меня впереди, на «Трех сестрах» Немировича-Данченко во МХАТе...

Я выросла, по-прежнему запойно читала и перечитывала любимые книги и постоянно удивлялась, как это раньше я не заметила этой странички, этих слов, этих мыслей: ведь это совсем про меня, совсем про нас, совсем про сегодня. Много планов было у меня и на 1941 год. Помню, как начиналось то жаркое лето. В воскресенье 22 июня я, девятиклассница, собиралась ехать на дачу к подруге... Но на утро была война

Продолжение следует